

М.Е. Николаев.

Мои воспоминания.

Посвящается моим детям

Бог труды любит

Русская пословица

Есть пословица «От трудов праведных не наживешь палат каменных», т.е. другими словами: честным трудом не разбогатеешь. Эту мысль часто высказывают люди, которые собственно даже не знают, что такое настоящий труд — упорный, настойчивый, разумный, и отвергают успех честного труда, чтобы тем самым оправдать собственный неуспех. За свою долгую жизнь я убедился в другом: праведным честным трудом, при хорошей жизни (аккуратности, бережливости, трезвости) и для себя можно нажить обеспечение, чтобы не только не нуждаться в чужой помощи, но и самому быть опорой родных и близких; и потомство свое, которому ты дал жизнь, наградить и тем избавить от чужой заботы и тяжелой нужды, в которой часто понапрасну теряется много сил; и на доброе дело что-нибудь уделить. Я начинал свою жизнь с твердой верой в святость труда, я верил в то, что Бог труды любит, благословляет трудящихся и помогает им. Как бы труд ни был для меня тяжел, но если я видел, что он кому-нибудь нужен, я никогда его не избегал. Вера в Божью помощь поддерживала меня в те минуты, когда мне приходилось особенно трудно.

Честным упорным трудом старался я прожить всю свою жизнь, и Господь благословил меня и наградил больше, чем я стою. На память своим детям я хочу рассказать простую незамысловатую историю своей жизни.

Родился я во Владимирской губернии, в Гороховецком уезде. Есть здесь село Фоминка, которое некогда принадлежало помещице Жеребцовой. Имение это было очень большое, состояло еще из нескольких сел и деревень, крестьян было до пяти тысяч. Еще во второй половине прошлого столетия жил при барском дворе выборный одной из деревень, Моисеевки, некто Лукоян Петров — это был мой прадедушка.

В нашей семье о прадедушке сохранилось воспоминание как об очень горячем охотнике. Рассказ о том, как он ходил на медведя, повторялся у нас много раз и был чрезвычайно интересен для меня в детстве.

Вокруг Фоминки лежали вплоть до Мурома огромные леса, куда так и тянуло нашего прадедушку поохотиться. Однажды полесовщик сообщил прадедушке Лукояну, когда он объезжал лес, что в лесу он усмотрел медведя, который, зарывшись в куче травы и хворосту, проживал здесь всю зиму.

Охотничье сердце прадедушки разгорелось. Он велел полесовщику следить за медведем. В скором времени, пригласив себе в товарищи одного из моисеевских крестьян и своих двух взрослых сыновей, Павла и Архипа, и запасшись ружьями, железными рогатинами, лыжами, прадедушка отправился на охоту. Разместились на значительном расстоянии друг от друга. Добрая охотничья собака прадедушки скоро учуяла медведя, полезла прямо в нору и выгнала оттуда разозлившегося зверя. Медведь прямо направился на прадедушку; для настоящего охотника великая радость, если зверь, даже такой, как медведь, идет прямо на него. Прадедушка Лукоян живым манером приготовился к достойной встрече, поспешно снял с ног лыжи, обмял вокруг себя снег, схватил в руки ружье, быстро прицелился и выстрелил. Пуля попала в грудь медведя. Разъяренный зверь встал на задние лапы, взревел и двинулся прямо на охотника, кровь из него лила ручьями, зарядить ружье в

другой раз было уже некогда. Тогда прадедущка Лукоян схватил рогатину — стальную, насаженную на трехаршинный шест, — и в то время, когда медведь, рывкая, широко разинул пасть, быстро и ловко всунул ему в горло рогатину, но повалить медведя назад не удалось. Медведь с рогатиной в горле, сам на нее налезая, двинулся вперед, затем так сильно ударил лапой по рогатине, что вышиб ее из рук, и прадедущка, потеряв равновесие, упал вниз лицом прямо под медведя. Медведь, трясаясь и задыхаясь от ран, тем не менее бросился на прадедущку и начал царапать ему когтями спину, но через несколько мгновений околел, упавши на охотника. Другие охотники, услышав выстрел, бросились к тому месту, где стоял прадедущка, но подоспели уже в то время, когда медведь испустил дух. Сыновья прадедущки страшно перепугались, стали кричать, думая, что отец уже мертв. Старший, Павел, прицелился в медведя, полагая, что тот жив, и попал пулей ему в лоб. Но пуля отлетела от Кости, не пробив черепа, и попала в ель, толщиной больше вершка, которую и перешибла пополам. Решившись подойти поближе, сыновья прадедущки увидели, что медведь уже околел, а когда свалили его с прадедущки то оказалось, что прадедущка только находится в глубоком обмороке. Долго после этого прохворал прадедущка, но все же раны, которые, по обычаю смазывали жиром того же медведя, совершенно зажили, и он прожил ещё немало годов.

Два сына прадедущки, Павел и Архип, поженившись, скоро обзавелись немалым числом детей. А в ту пору с больших семейств брали рекрутскую повинность. Тогда прадедущка, чтобы этого избежать, задумал разделить семью. В село Расстригино, принадлежавшее тем же господам, была у него выдана дочь, у которой детей не было, прадедущка и выделил сына Павла в семью зятя. Дело это было в конце прошлого столетия (1798), имущества Павлу Лукоянычу дано было по крестьянству не очень много, но и не мало. Дали ему две лошади, три коровы, пять овец; затем — ветряную мельницу, сарай и амбар, замечательные тем, что пол, потолок и сусеки в них были сделаны из досок, шириною не менее 16—18 вершков, колотых и тесаных, а не распиленных. Кроме того, дано было ржи 10 четвертей, овса 12 четвертей, пшеницы 5 четвертей, льняного семени 3 четверти.

Переехавши к зятю, Павел Лукояныч лет пять жил очень хорошо. Два мужика работника — он и зять, две женщины работницы, жены их, держали хозяйство в исправности. Но хорошая достаточная жизнь оказалась во вред зятю. Чем далее, тем беззаботнее и нерадивее стал он относиться к своему делу, а затем стал настолько пьянствовать, что в кабаке начал тащить что попало. Началось настоящее разорение. К тому же случился неурожайный год, и хлеб сильно вздорожал. Горюя о своей семье, положение которой становилось все печальнее, Павел Лукояныч собрал сход и попросил дать ему место для постройки отдельного дома. Сход уважил просьбу, и Павел Лукояныч, забрав своих уцелевших еще коров, лошадей, овец и свои постройки, перешел на новое место. Так как год был неурожайный, то хлеба ему совсем не дали.

Как раз к этому времени подрос у него и второй сын — Николай (старшего звали Егором). По правилам того времени ему приходилось отбывать воинскую повинность или вместо того уплатить 500 рублей. Солдатская служба в то время была, как известно, делом очень трудным, и чтобы избавить сына от нее, решили, несмотря на трудные обстоятельства после раздела и неурожайных годов, продать что только возможно и откупиться от повинности.

Такие обстоятельства привели семью Павла Лукояныча в большую бедность. Заработки на стороне тогда были очень плохие. Избавившись от воинской повинности, сын Николай стал ходить в

бурлаках от Самары до Нижнего. Нанимать бурлаков в наше село хозяева судов приезжали сами. Плата за труд была очень дешева. За путину давали 18 рублей ассигнациями, из них десять рублей задаточные тотчас же отдавались управляющему в оброк, а остальные 8 рублей почти все уходили на харчи бурлаку, путину же из Самары приходилось, если Бог не давал попутного ветра, тащить лямкой недель десять. Таковы-то были тогда заработки.

Старший сын Павла Лукояныча Егор с женой жил всегда при отце и занимался земледелием. Первая жена его скоро померла. Тогда новый управляющий, некто Комаров, приказал Егору взять невесту в соседней деревне — Ивачеве. В то время не было обыкновения спрашивать о желании жениха и невесты повенчаться. Указанная Егору невеста Татьяна Федоровна была еще очень молода — пятнадцати лет — и замуж идти ни за что не хотела. Когда приехали за нею в Ивачево, ее так спрятали, что долго не могли найти. Наконец она была найдена на дворе под корзиной, насильно ее увезли в Расстригино и там обвенчали.

Детей у них родилось много, но все вскоре умирали. Это страшно огорчало обоих супругов, и они все молили Бога, чтобы Бог послал им детище и помог его вырастить. Построили даже на свои скудные средства часовню посреди села. И вот явился у них на свет Божий сын Матвей — это был я. О первых годах моего детства остались у меня самые приятные, самые дорогие воспоминания. Отец и мать горячо любили меня, хотя баловства не допускали. Отец охотно брал меня всюду с собой и любил со мной разговаривать. Совсем еще маленькому он показывал и рассказывал мне, как все делается у нас в крестьянстве. Ему самому нравилось со мной потолковать, а для меня это было лучшее удовольствие. Мать учила меня молиться Богу, приучала ходить в церковь, соблюдать посты. В праздничные дни есть рано не давала, «подожди, когда солнце взойдет на эту дощечку, — говорила она, показывая на половицу в избе, — тогда и можно будет поесть».

Я терпеливо дожидался этого времени, с интересом следя за показанной половицей; так время незаметно проходило, и я не надоедал матери беспрестанными приставаниями. За большие проступки мать строго наказывала. Один такой случай особенно врезался мне в память.

Гуляя часто на улице, я не раз слышал, как взрослые ребята бранятся всевозможными дурными словами. Однажды мать и от меня услышала такие бранные слова. Она сильно рассердилась, схватила меня на улице, растворила дверь в избе, положила мою голову на порог, взяла в руки косарь и, замахнувшись им на меня, грозным голосом сказала: «Если ты только еще раз посмеешь ругаться, я на этом самом месте отрублю тебе голову».

Я сильно перепугался и стал молить ее, чтобы она только пустила меня живого, что с этим пор я никогда, никогда не стану больше браниться. С этих пор и по сие время Господь сохранил меня от позорных слов.

Сама мать моя была образцом доброй нравственности, и я не припомню ни одного ее поступка, который бы я мог осудить. Жила она сама в страхе Божиим и тому же старалась научить и меня. Так счастливо, среди любящих людей, текло мое раннее детство. Но затем многое изменилось. Помню, было мне лет шесть-семь, пошли у нас неурожай. Не уродились ни рожь, ни лен — ровно ничего. Крестьяне накопили недоимки, а в том числе и мой отец. В это время главным управляющим всего имения был некто Потанин, а старостой в нашем селе Расстригине его двоюродный брат. Человек это был крайне несправедливый, своею властью он часто пользовался во вред другим и при всем том сильно любил выпить. Как-то раз он обратился к моему отцу:

- Не грех бы тебе, говорит, угостить меня — за тобою ведь недоимки много.

На это отец отвечал:

- Рад бы я тебя угостить, Степан Петрович, да денег у меня на это нет. Были бы деньги, неужели я не отдал бы их в оброк?

- Ну ладно, ладно, — сердито ответил ему староста. — Будешь ты меня помнить!

Один раз староста пришел из Фоминки выпивши и призвал к себе в дом отца, а дом был новый, только что отстраивался: в сенях пола не было, а положены были одни переклады, в избу ходили по одной дощечке. Как только отец вошел в избу, староста начал его бранить и укорять за то, что он и недоимки не платит, и его угостить не хочет. Отец, видя, что добра ждать нечего, пошел из дому, а староста кинулся за ним и толкнул его в сенях изо всей силы. Отец так ударился грудью о перекладь, что едва мог подняться.

С этой поры он стал сильно кашлять и задыхаться.

Во время болезни отца все наши недостатки все больше и больше исчезали, между тем раздраженье старосты все не проходило. Он нажаловался на отца управляющему, а тот велел высечь отца розгами. Этот позор так сильно подействовал на отца, что он совсем слег в постель и лежал три месяца. Болезненное состояние его стало заметно ухудшаться. Скоро нам стало очевидно, что он не жилец на белом свете. За неделю до смерти он приготовил себя по христианскому обычаю: причастился, пособоровался. Затем перед самой смертью позвал своего младшего брата Николая и стал его просить:

- Братец! не оставь ты моего сына сироту. Воспитавай его до совершенного возраста. Вся надежда на Бога да на тебя. Я надеюсь, что ты его не бросишь, и Господь Бог тебе за это поможет.

А потом обратился к нам и сказал:

- Собирайте скорее обедать, а то я вас замну.

Только что мы пообедали, подошли к нему, как он стал страдать. Собрались соседи, мы все, стоя кругом, плакали, как вдруг отец поднялся, обвел нас всех глазами и сказал, обращаясь к соседям:

- Братцы, милые соседи! Пожалейте вы моих сирот! Жена и сын остаются без всяких средств! Не подуйте на них холодным ветром! Простите меня все Христа ради, и вас Бог простит!

Затем он перекрестился три раза и, сказавши: «Господи благослови!», упал навзничь, стал дышать реже и реже, и чрез минуту его не стало.

Упавши с матерью ему на грудь, мы долго без памяти плакали. Остались мы беспомощными сиротами и свое тяжелое горе облегчали только постоянными слезами и горячею молитвою к Богу.

Спустя шесть недель по смерти отца, мать, взявши с собою меня, поехала в Фоминку к управляющему. Войдя в контору, мы оба стали на колени и так дожидались прихода управляющего.

Когда явился управляющий, мать упала ему в ноги и начала умолять его, чтобы он не брал за тягло после отца оброку. Управляющий сжалился над нами и, обратясь ко мне, сказал:

- Слушай, мальчик! за твоим отцом восемьдесят два рубля недоимки. Смотри, как вырастешь, чтобы ты заплатил за него; а пока да пользуйся льготой и оброку за тягло не плати. Поезжайте с Богом домой!

Но недолго мы пользовались дарованной милостью. Тот же староста, который доставил столько огорчений моему отцу и довел его до могилы, и нас не оставил в покое. Он донес управляющему, что будто бы мой дядя может уплатить оброк, и его заставили выплачивать недоимку. Между тем при

большой бедности дядя, кроме меня с матерью, должен был кормить жену, четырех дочерей, малолетнего сына — всех девять душ.

И в это время опять пошли сильные неурожаи. Помню, какую страшную нужду мы терпели.

Раз, вставши утром, мы, дети, по обыкновению сели за стол, чтобы поесть. Сидим и ждем, а ничего не дают. Глядим, а наши матери, стоя у печки, обе горько плачут. А я и говорю им:

- Что же вы нам есть не даете?

- Милые, дать-то нечего — мука вся вышла.

- Неправда, — сказал я, — как вышла? Я пойду погляжу в сусеке.

Прихожу к сусеку, а он совсем пуст, стал я сметать рукою пыль, что осталась на дне, набрал ее две горсти, принес и говорю:

- Вот, испеките нам из этого лепешку.

Собрали остатки толченого семени, смешали с принесенными остатками муки и испекли нам лепешку. Разделили ее на шесть частей детям, и этим мы были сыты весь день.

А так как на следующий день снова приходилось голодать, то дядя решил обратиться к старосте. Но как к нему подойти? Тогда дядя одолжил у соседей косушку водки и с нею отправился к старосте, староста с удовольствием выпил и велел дяде прийти в магазин, где выдал ему две меры ржи. Покуда кое-как перебивались ею. Из Моршанска по реке пригнал крепостной нашей же госпожи Воронов мокшан с хлебом. Воронов был очень добрый человек, и весь свой хлеб раздал нашим крестьянам в долг. Дядя тоже выпросил у него куль муки, и этою мукою кое-как впроголодь пробивались до новой муки.

На следующий год опять был неурожай — весь хлеб съел червь. Помню, в этот год зимою мы ездили с дядей в лес за дровами. Одежка у меня была так плоха, что, не проехавши и полпути, я стал совсем замерзать. Испуганный дядя Николай начал меня тереть, потом водить, а потом стал бегать со мной, и таким образом едва-едва я согрелся. Обратной дорогой мы все толковали о нашей нужде.

- Вот, Матвей, приходит у нас престольный праздник, — говорил мне дядя, — приедут, наверное, к нам гости, а как нам справить праздник, коли у нас нет ни гроша. Нужно бы купить немного рыбы, четверть меры пшена, десять фунтов гороховой муки, льняного масла два фунта и вина бы надо восьмушечку. Не знаю, как нам Господь поможет.

Только что приехали домой, как входят какие-то проезжие и спрашивают, нельзя ли переночевать. Переночевали, взяли у нас немного овса и сена и за все заплатили 1 рубль 20 копеек на ассигнации. Для всех нас это была большая радость.

- Эх, кабы еще столько, — сказал дядя, — мы бы и отбыли весь праздник.

Дядя опять уехал в лес, а без него пришли к нам еще проезжие и попросили продать овса. Я решился продать без дяди пять мер по двадцать пять копеек. Я все-таки боялся, как бы дядя не рассердился на это, так как и для самих овса было мало, но все очень обрадовались, когда узнали о моей продаже, потому что всем было бы очень грустно совсем оставаться без праздника.

- Слава тебе, Господи, — сказал дядя. — И мы теперь будем с праздником. Денег теперь нам на все хватит.

К празднику к нам обыкновенно приходил, бывало, дедушка Архип. Придет заранее и наплетет нам новых лаптей, и мы в праздник с гордостью щеголяли в них и больше ими дорожили, чем теперь дорожат сапогами. В роду у нас в это время были только одни сапоги. Их купил еще прадедушка

Лукоян, когда жил при барском дворе, и подарил их моему отцу перед женитьбой. Они все время лежали заперты в коробе и были торжественно вручены мне матерью, когда я женился. Впрочем, тогда и везде вообще у нас царствовала простота. Крестьяне все в церковь ходили в лаптях. Даже священники сами себе плели лапти. Однажды бабы, отправившись в лес по грибы, увидели на дороге сапожный след. Этот след всех их страшно перепугал, и они бегом пустились домой. Тогда сапожного следа боялись!

Сидя у нас долгие зимние вечера за плетением лаптей, дедушка Архип все время что-нибудь нам рассказывал, и так как он по наследственности от прадедушки был ретивый охотник, то его рассказы всего больше касались его охотничьих приключений. Особенно помнится мне один его рассказ. Однажды, идя лесом, он увидел на тропе медвежьих следы. Мысль, как бы изловчиться и полегче овладеть медведем, с этих пор не давала ему покоя. Наконец он придумал. Принес он из дому веревку, потом срубил большую березу, положил ее поперек на толстые сучья большой сосны, привязал к одному концу березы веревку и так натянул ее, что конец березы опустился книзу, как оцеп в колодцах. Затем в другой соседней сосне он провернул дыру, продел сквозь нее веревку, сделал на конец петлю, расположил ее как раз над медвежьей тропой и укрепил ее на кустике так, что если только медведь пройдет по тропе, то непременно должен будет попасть в петлю, причем петля соскочит с кустика, а затем уже береза, как оцеп, потянет ее и притянет медведя к сосне, так что он очутится как бы повешенным.

Спустя несколько времени прибегает в деревню Моисеевку, где жил дедушка Архип, деревенский пастух, который в это время пас в лесу моисеевский скот, и с волнением говорит:

- Архип Лукояныч! Поспешай скорее в лес, в твою петлю попал медведь!

Дедушка торопливо с сыновьями запряг лошадь и покатыл в лес. Лошадь ставили у лесу, а сами побежали по тропе, чтобы скорее полюбоваться на Добычу. Увидав издали висящую огромную тушу, все радостно закричали:

- Вон он! вон он! Ага! попался-таки!

И что же! Подбегают ближе, а вместо медведя висит в петле их собственная лучшая бурая телка.

- Батюшка, — сказал старший сын, который первый разглядел телку, - кажись, это наша телка.

- А вы, ради Бога, помолчите, — сказал сильно сконфуженный и огорченный дедушка Архип. — Теперь уж нечего делать.

Чтобы никто ничего не узнал, поскорее содрали с телки кожу и увезли ее домой. Но скрыть этого происшествия не удалось; от пастуха скоро узнали всю правду, и долго все в деревне трунили над дедушкой:

- Архип, Архип! Поезжай скорей в лес: не попал ли опять в твою петлю медведь?

Мало того. Эта история разнеслась и далеко кругом, так что мужики соседних деревень стали дразнить уже всех моисеевских мужиков:

-Эй, вы, моисеевские, — говаривали они дедушкиным односельчанам, когда хотели им за что-нибудь досадить, — поезжайте-ка в лес, у вас там медведь попался в петлю.

Любовь к охоте от моих предков перешла и ко мне. Сначала я просто сопровождал в лес дядю Николая, а затем так пристрастился к этому занятию, что в свободные праздничные дни встанешь чуть свет и с наслаждением, перекинувши ружье через плечо, бродишь по лесу. Дичи тогда было много, и домой всегда возвращешься с добычей. Мать часто сердилась на меня зато, что я брожу по лесу,

вместо того чтобы идти в церковь; но природная склонность одолевала все препятствия. Помню случай, благодаря которому я совсем избавился было от своей страсти.

Как-то в один из праздников я ушел в лес с товарищем с двух часов ночи. В это утро мой дядя Николай пошел кормить лошадей и, взглянув на церковь, в которой недавно отошла заутреня, он увидел там огонь. И раньше было два раза, что в запертой церкви ему виделся огонь; и когда он сказал об этом старосте, тот не поверил и даже разворчался.

- Бог знает, что ты выдумываешь! Уж который раз ты видишь огонь. А все ничего не оказывается. Но не прошло и четверти часа, как огонь выбился из-под крыши. Ударили в набат, дошедший и до нас в лес. Мы живо взобрались на сосну и с ужасом увидели, что горит в нашем селе. Оставивши в лесу ружья, мы, себя не помня, бросились бежать домой. Оказалось, что церковь так быстро охватило огнем, что ее не успели даже отпереть. Немногие иконы, бывшие у двери, успели выхватить, да и то едва не задохлись от дыма. Даже колокола погибли — все расплавились. Мы все с горечью глядели, как пламя все сильнее и сильнее охватывало нашу родную, существующую почти двести лет, святыню, как прогорела кровля, как повалились в пламя кресты. Вдруг все увидели, как из пламени вылетела точно белая птица и полетела вверх...

— Это благодать Божия улетела на небеса, — сказала стоявшая вся в слезах моя тетка.

Село Бог сохранил. Только во многих домах, даже довольно далеко от церкви стоявших, перелопались стекла в окнах. Этот пожар произвел на меня сильное впечатление. Мне казалось, что будто именно меня Бог наказал им за то, что в праздники я не посещал храма Божьего. Шесть лет после того я вел с собой борьбу и всеми силами старался избегать леса. Но не стерпишь — пойдешь. Когда набродишься до сильной усталости, наголодаешься и назябнешься, то опять заречешься ходить; но как только отдохнешь, забудешь все зарок и опять неудержимо потянет на охоту. Так дожил я до семнадцати лет. Учиться мне нигде не пришлось. Школ у нас тогда не было. Некоторым из деревенских детей нанимали одного старичка, некоего Димитрия Салынского, которому платили по три рубля в зиму за мальчика. У нас же нечем было заплатить за меня, и я так и остался неграмотным. «Ученому свет, — говорят, — неученому тьма». Часто мне приходилось очень сожалеть о своем недостатке. Часто от этого мне приходилось терпеть большие затруднения, и только вера в то, что Господь и темного не оставляет своей помощью, служила мне поддержкою. «Веруй в Бога, вера твоя спасет тебя». Вера в Бога и надежда на него всегда помогали мне переносить все жизненные невзгоды, выходить из всевозможных затруднений.

Салынский сам был человек малоученый и мог обучить только начальной грамоте. Впрочем, он знал и священную историю и охотно беседовал и с детьми о Боге, Страшном суде. Рассказывал, как грешники будут мучиться в аду, убеждал не грешить, чаще ходить в церковь. Я любил слушать его рассказы и наставления и от него немало научился страху Божьему.

Никакому мастерству у нас тоже негде было научиться. Помню, лет десяти я впервые начал зарабатывать деньги. Впрочем, первые деньги, которые стали моею собственностью, были мне подарены. Раз как-то я с целой ватагой наших деревенских мальчиков стоял в базарный день у магазина. Сюда в эти дни мы собирались, чтобы у прохожих и у проезжих с базара выпросить что-нибудь себе. Видим, идет старый дряхлый нищий. От такого ничего не выпросишь. Поэтому ребята начали озорничать и дразнить старика: «Эй ты, Сергей-мощи! Давно тебе пора во щи».

Старик ничего не сказал шаловливым детям. Я стоял молча в стороне. Он подошел ко мне, погладил

по голове и сказал:

— На, вот тебе, полушку . Береги ее. У Бога нет сирот. Он тебе поможет и ты будешь жить хорошо. Эта полушка были первые мои собственные деньги. Я с радостью побежал домой, рассказал дяде, как мне досталась полушка, и попросил его спрятать ее, чтобы денежки стали водиться. После этого я вскоре стал зарабатывать деньги своим трудом. Подрядился я у одного крестьянина рубить дрова — по грошу в день. А было это в апреле месяце, и день был очень долог. Затем в мае месяце я ходил драть корье и за месяц заработал двадцать копеек на ассигнации. Так дешево ценился мой, во всяком случае, нелегкий труд!

С семнадцати лет я стал заниматься тем промыслом, который был почти единственным в наших местах. Жили мы поблизости многих рек — Волги. Оки, Клязьмы, Мокши, Цны, которые то долгое, то короткое время в году судоходны, и потому взрослый народ наших деревень уходил в бурлаки, тянуть суда лямкой или тащить их лошадьми. Наиболее трудная работа была бурлацкая. Я был очень мал ростом и слаб силами, и тянуть лямку меня не брали, а потому я сделался коноводом, т.е. погонщиком лошадей, которые тащили барку. Большею частью мне приходилось быть шишководом, т.е. погонщиком передней лошади. Хотя это дело и легче, чем тянуть лямку, но и оно было далеко не из легких. Вставать нужно было с четырех часов утра и без отдыха, часто без обеда, работать до десяти часов вечера. Нестерпимо захочется поест, — сбросят тебе с барки кусок хлеба, обмакнешь его в воду, наскоро проглотишь, и то еще слава Богу. Пища рабочему люду полагалась самая простая: сварят жидкую кашу, сольют с нее воду на искрошенный хлеб и получают два кушанья — тюрю и каша, из которых и состоит весь обед. Бурлакам, впрочем, выдавалась пред обедом порция водки. Вести шишку хотя и было сравнительно полегче, но приходилось часто терпеть немало неприятностей. Закричат с барки: «Стоять!» Не расслышишь за ветром, и сильно отругают, а то и за волосы оттаскают и избьют. А заработок в неделю был два рубля на ассигнации!

Но, несмотря на трудность работы и на незначительность заработка, мы все благодарили Бога, что он посылает нам хоть такую работу, так как, благодаря этому заработку, который я весь, за исключением траты на еду, на обратном с промысла пути отдавал дяде, при нашей крайне аккуратной жизни, мы понемножку и старые недоимки заплатили, и даже накопили семьдесят рублей. Тогда старушка мать моя стала просить дядю, чтобы меня женили. В нашем селе было много невест, но, когда стали сватать, ни одна не соглашалась идти. У всех был один ответ:

- Он беден, собою мал и тощ, и жену ему не прокормить.

Затем объехали еще двадцать деревень, и так как, как говорится, слухом земля полнится, там тоже знали, что я слабосилен, и ни одна из невест и там не пошла за меня. Тогда пришел мой крестный и говорит дяде:

- Николай Павлович! Крестника надо бы женить.

Дядя мой, уже отчаявшийся найти мне невесту, отвечал:

- Да многих уж сватали, а до суженой все не доехали.

Крестный предложил поехать в село Реброво к его родственникам и уверил нас, что его послушают и отдадут невесту за меня. Так и вышло. Невесте на стол мы дали семнадцать рублей на ассигнации.

По обычаю того времени мы не видали друг друга до тех пор, пока нас не привезли в церковь.

Церкви в нашем селе в то время еще не было, и наше Расстригино даже было уже переименовано в деревню, а потому венчали нас в кладбищенской церкви. К слову скажу, что все-таки с течением



времени наш новый владелец, князь Орлов, выстроил в Расстригине новую каменную двухэтажную церковь, наложивши для этой цели на каждое тягло по три рубля.

Женившись, я продолжал заниматься тем же промыслом. Помню, как грустно мне было один раз вскоре после женитьбы (мне уже было лет двадцать), когда меня не взяли вести мокшан по Клязьме, потому что я был мал ростом, и я должен был вернуться домой ни с чем!

На следующем году я был счастливее: мой двоюродный брат, который был лоцманом на одном из мокшанов, взял меня к себе в бурлаки. Шло разом пять мокшанов, и все торопились раньше друг перед другом попасть на Холуйскую пристань. Хозяин нашего мокшана был молодой и задорный. Чтобы подзадорить нас работать усерднее, он выставит ведро водки — пей каждый, сколько хочешь! Помня частые наставления матери, которая неоднократно предостерегала меня от употребления этого пагубного напитка, я не хотел даже пробовать ее. Но все кругом стали меня поддразнивать: - Что ты как плохо работаешь! А все оттого, что не хочешь выпить. Выпей — и силы прибавится, и веселее станешь.

Я взял стакан и решительно хлебнул. Весь рот у меня обожгло, как огнем, и в горле запершило; я выплюнул поскорее водку и с той поры никогда ее больше не пробовал.

Вскоре после этого я надумал решиться взяться самому вести барку. А лошадь у меня была только одна. Тогда я, пригласивши себе в компанию товарища, нанял работников с лошадьми и взялся провести барку от Нижнего до Владимира. Барку мы провели благополучно. Таким образом я стал теперь уже подрядчиком и с первого же раза убедился, что мне это по силам. Тогда я стал прикупать и своих лошадей и принимать и работников с лошадьми. А тем временем в помощь мне вырос сын дяди, мой двоюродный брат который стал ходить у меня в коноводах и водить шишку.

Дела наши тогда наладились прекрасно. При хорошем заработке на стороне и земледелие у дяди пошло лучше. Кроме своей земли, дядя еще обрабатывал нанятую, хорошо ее удобрял, и у него прекрасно родился и хлеб, и лен, и все прочее. Все пошло — слава Богу.

Но за радостью и счастьем часто следует и горе. Мать моя, которой было около шестидесяти лет, стала с этого времени прихварывать все больше и больше и наконец вовсе слегла. Видя свою близкую кончину, она благословила меня иконой и сказала: «Молись Богу, поминай родителей, а паче всего — живи честно. Не пей чаю и кофею, не ешь картофелю, не кури табаку, пуще же всего — не пей водки. А если не сохранишь эту мою заповедь, не будет на тебе моего благословения».

Чрез два года после смерти матери нас отпустили на волю. И у нас, как и во многих местах, это дело обошлось не без волнений. Надо сказать, что все господа, которые владели нами, были очень хорошие люди: крестьян не отягощали ни оброками, ни барщиною; а потому крестьянам жилось хорошо. Еще несколько ранее господа предложили нам купить у них лесу по очень дешевой цене, чтобы построить себе хорошие дома. За десятину леса взяли с нас семьдесят рублей, и из десятины выстроили по четыре дома. Обстроились прекрасно, и вышло почти задаром.

Когда пошли слухи о предстоящей воле, управляющий, зная наши хорошие отношения к владельцу, посоветовал нам относительно надела войти в соглашение с ним.

— Князь наградит вас, и вы век будете счастливы, — уговаривал он нас.

Вотчину нашу разделили на пять волостей. Наша волость и желала бы войти в соглашение с князем, но старосты остальных волостей отговаривали, уверяя, что и без всяких обстоятельств все будет принадлежать крестьянам. Волнения и несогласия наши продолжались три года. Три года мы не

делали никаких взносов, и тогда из Владимира пригнали команду солдат. Главным возмутителем был староста села Реброва, — в этой деревне солдаты и остановились. Со всей вотчины собраны были все домохозяева, и в их присутствии по одному были наказаны розгами пять главных смутьянов. На всех прочих это так сильно подействовало, что немедленно водворилось согласие и спокойствие.

Около этого времени пошли слухи, что вскоре будет строиться дорога от Москвы через Владимир и до Нижнего. В самом деле скоро на барках стали возить рельсы и всякий материал, нужный для постройки дороги. Я принялся нанимать работников с лошадьми и, пользуясь тем, что работы можно было достать вдоволь, работал изо всех сил.

Тут случилось было мне между прочим взять одно очень подходящее дело. Для железнодорожного моста, который строили через Клязьму, нужно было из Коврова возить на барках камень к Боголюбову, чтобы засыпать в воде котловины. Я охотно взял этот подряд и начал водить барки с камнем. Когда пришли барки к месту выгрузки, то камень был выгружен без выкладки. Инженер, который в Коврове отпускал камень, узнав, что его выгружают без меры, приписал на другую барку лишних пять кубов, а на третью уже десять, и с меня за это стал требовать на чай по пяти рублей с барки. Пять рублей я отдал, но, видя, что тут дело несправедливое, я не мог продолжать здесь работать, так как меня все мучила совесть, и я отказался от подряда. Вместо меня подрядились мои два бывшие работника. Проработавши лето, они осенью по приезде домой разделили заработок, и оказалось, что каждому пришлось по полторы тысячи рублей. Все село им завидовало, и все говорили:

— Вот умные люди! Из ничего сделались богачами!

А я на это говорил: «Неправильно у них это нажито, — как пришло, так и уйдет».

Так и вышло. С небольшим в год прожили они свои денежки, и ничего у них и в помине не осталось.

А для меня дело нашлось. Бог послал мне и честную, и выгодную работу.

Известная фабрика бр[атьев] Морозовых нуждалась для провоза своих товаров в большом количестве барок. Подрядчиком по этому делу состоял у Морозовых некто Шерстнев, который перевозил фабричный товар и на своих барках, и на фабричных (конторских), ему сдававшихся для этой цели. Вот на этого подрядчика Шерстнева я и стал работать. Сначала я у него надзирал за лошадьми, водил его барки и проч. Но, прослуживши некоторое время, я увидел, что я не хуже его понимаю дело и что я так же, как и он, мог бы работать от самих Морозовых.

Фабричные служащие, все благоприятели Шерстнева, узнавши от меня о моем желании, стали уверять меня, что добиться мне работы от Морозовых очень трудно, так как конторские барки все сданы Шерстневу, а своих у меня нет. Тогда я решился купить две свои барки. Денег у меня было еще очень мало, так что я мог купить только подержанные две барки за триста рублей.

Сделавшись владельцем барок, я явился к управляющему и стал просить для себя работы от фабрики; но управляющий мне решительно ответил, что работы мне не будет, так как вся она сдана Шерстневу. Опечалился я несказанно. «Купил, — думаю я, — барки, истратил деньги, а работы не дают, да и Шерстнев теперь не даст, потому что наверное рассердился на меня, что я сам хотел работать от Морозовых». Стою я у ворот повеся голову и не знаю, что делать. Вдруг, гляжу, идет хозяин, Давид Абрамович Морозов, с управляющим.

— Это что за человек? — спросил Давид Абрамович.

— Да это новый барочник, — ответил управляющий. — Работал он у ерстнева, а теперь просит работы от конторы.

— А как он, исправный и трезвый человек?

Управляющий не мог меня похулить, и тогда хозяин приказал дать мне работу.

Тут я осмелился вставить свое слово: «У лесоторговца Арзамасова, — говорю, — на пристани есть много дров, ему охота их продать; поэтому выгодно можно купить их».

Хозяин тотчас приказал купить дрова, а мне поручил их перевозку. С этой поры я стал работать от самих Морозовых. Через год мне уже доверили вести барку товара в ярмарку; в следующем году сдали мне треть всей работы, а затем половину, и конторские барки разделили нам с Шерстневым пополам.

Между тем Шерстнев, уверенный в том, что все за него, стал относиться к делу (что мною давно уже было замечено) все небрежнее; благодаря же недостатку присмотра с его стороны, у него стал пропадать товар. Он и его сын оба пили и, разумеется, не могли исполнять аккуратно и добросовестно своих обязанностей. В 1874 году я не решился работать у Морозовых вместе с Шерстневым. Я опасался и, как оказалось не без основания, что, работая в компании с ним, при его невнимательности, я могу попасть в какую-нибудь неприятную историю. К тому же человек он был мстительный и все еще косился на меня за то, что я стал работать от Морозовых, и мог, чтобы оконфузить меня перед хозяевами, «сбить» меня, т.е. сделать мне какую-нибудь каверзу, неприятность. Один раз это уж и случилось. На барки с товаром от Морозовых присылались артельщики. Все они были приятели Шерстнева, так или иначе им задобренные, — и как-то раз по моей барке в дождь оказался раскрытым товар. В этом деле я мог подозревать только артельщиков, которые по просьбе Шерстнева хотели подвести меня под ответственность. Чтобы избежать вперед таких неприятных случайностей, которые могли бы запятнать мою репутацию, я отказался от перевозки товара и взял только дрова. На остальных же барках возил глину купцов Кузнецова и Костина.

Но отказ от работы у Морозовых меня очень огорчал. Я видел, что Шерстнев работает все хуже и хуже (у него опять случались пропажи). Тогда в следующем году я снова поехал в морозовскую контору. В это время Морозовы разделились: Давид Абрамович стал управлять Тверской мануфактурой, а Тимофей Саввич — Ореховской. Придя в контору, я спросил у управляющего, будет ли мне дело? Он ответил: «А вот я узнаю, как вы работали в последнее время, и вечером вам скажу».

Вечером он предложил мне взять работу пополам с Шерстневым и тут же спросил, как моя фамилия. Фамилии у меня до сих пор не было, и я так сказал: Николаев, и с той поры стал прозываться Николаевым. В конторе же меня научили писать свое имя и фамилию. Приказчики, привыкшие держать руку Шерстнева, стали говорить управляющему, что работу непременно следует отдать Шерстневу, потому что он уже давно работает.

— Эх, — сказал я с огорчением, — за Шерстнева все стоят, а у меня нет защитников, потому что сухая ложка рот дерет.

Затем объявил управляющему, что не могу брать работу пополам, потому что меня как-нибудь подведут и выйдет только один грех. Пускай уж берет один Шерстнев. Управляющий мне ответил, что Шерстневу всей работы отдать не может, потому что он человек нетрезвый и чем дальше, тем

все хуже следит за делом.

Когда управляющий ушел в кабинет, я решился войти за ним и говорю:

— Михаил Иванович, отдайте мне всю работу.

— Да справишься ли ты?

— Господь поможет мне. Я всегда в трезвом виде и сам нахожусь при деле.

— Ну ладно, приходи завтра утром. Там увидим.

Утром я пришел очень рано и дожидался у ворот. Пришел управляющий и велел бухгалтеру писать условие — работа вся отдавалась мне. Когда у нас уже все дело было кончено, пришел и Шерстнев. Приказчики, видя его неуспех, стали над ним подшучивать:

— Ты, знать, Шерстнев, проспал, а работу тем временем отдали Николаеву.

Тогда дела у меня закипели. Я прикупал все более и более барок, нанял сто лошадей да купил своих десять. Морозовы были мною довольны и доверяли мне весь товар, который отправляли на ярмарку. В этом году чистого барыша у меня осталось шесть тысяч рублей.

Таким образом семейство наше из бедного постепенно стало богатым. Все свои заработки я по-прежнему отдавал дяде. Между прочим, он придумал было еще новое занятие — открыть винную лавку. Но это дело нам не понравилось. Пьяные крики, гам, брань, всякое безобразие так стали нам противны, что с общего согласия лавка была закрыта.

Около этого времени случилось важное в крестьянской семье событие - мы разделились с братом. Случилось это так. У брата неожиданно умерла жена, оставивши ему двоих детей. Брат вскоре снова надумал жениться и, ничего никому не сказавши, стал сватать понравившуюся ему девушку. Но она решительно ему ответила, что ни за что не пойдет за него, если он не разделится со мной, так как у меня очень велика семья, — у меня к тому времени было три сына и три дочери. Брат стал говорить об этом отцу, а дядя Николай мне.

— Матвей, пока я жив, разделитесь вы с братом.

— Дядюшка, — сказал я, — если тебе со мною жить неуютно, то дели нас, как хочешь.

— Нет, Матвей, — сказал дядя, — ты лучше знаешь. Разложи все пополам и кинь жребий.

Всю ночь после этого разговора мне не спалось, и я все думал, как лучше и справедливее нам разделиться, и надумал так: дом, двор, амбар, три сарая, овин, мельницу и пять тысяч рублей положить в одну часть, а в другую — бывшие у нас девятнадцать барок, один мокшан и те деньги, которые еще останутся. Хлеб, лошадей, коров и овец пополам. Наутро я предложил дяде взять любую часть. Они с братом ушли в горницу посоветоваться и выбрали первую часть.

— Тебе барки больше к рукам, — сказал дядя, — ты и дело это знаешь, и хозяев знаешь — бери их себе.

Я на все был согласен и только просил позволения пожить в доме, покуда не выстроюсь.

Односельчане мои очень осуждали меня за то, что я так разделился. Как это ты остался и без денег, и без дому, и без строений? Напрасно ты так согласился. Но я отвечал, что надеюсь на Господа, как он устроит.

Понемногу я принялся заготавливать материал для дома. А денег у меня теперь было всего восемьсот рублей. Для постройки и для оборота в моих делах это была очень ничтожная сумма. Тогда надумал я весною съездить в Моршу и нагрузить там на свой мокшан хлеба для продажи, чтобы этим хоть что-нибудь покуда заработать.

Но опять-таки моих денег было слишком мало, чтобы за это взяться. Пока я думал-раздумывал, как мне обернуться, является ко мне, еще задолго до начала весны, один мой знакомый.

— Я слышал, — говорит, — что ты хочешь ехать в Моршу (Моршанск).

— Хотеть-то хочу, — отвечаю, — да денег нет — нечем взяться.

— Полно, не нуждайся, — сказал он мне, — на пятьсот рублей. За тобой не пропадет.

А потом я заехал к Морозовым, и они дали мне две тысячи рублей под работу, да управляющий одолжил две с половиной тысячи. Я съездил в Моршу, купил очень удачно хлеба, нагрузил им половину мокшана, а другую половину — чужою поставкою. Хлеб продал с пользой. Благодаря этому обороту и дом выстроил, и с долгами расплатился.

На Морозовых я продолжал по-прежнему работать, и чрез два года после раздела у меня был уже свой приличный капитал. Не забывай Бога, трудись, и Бог не оставит тебя своею милостью!

Немало пришлось мне в жизни своей вынести и испытаний, которые Господь посылает нам наравне со своими милостями.

Так, в 1881 году зима началась 3-го октября. Я нагрузил из Нижнего двадцать барок, и все они замерзли в дороге. Товар пришлось доставлять лошадьми на свой счет. И хотя это было большое и очень хлопотливое дело, но пользы не было. В следующем году меня постигло новое огорчение — выбрали меня в волостные старшины. Подавал я прошение, прося освободить меня от этой должности, так как я много лет работаю у Морозовых; но получил ответ, что можно освободиться только в том случае, если имеешь казенный подряд. И должен я был прослужить три года.

Поставленный мною над всеми моими делами сын мой не мог, по молодости своей, справиться с ними. По своей неграмотности учесть дела я не мог, а отпускали меня самого только на короткий срок в Нижегородскую ярмарку. В этом же году случился неурожай; овес и харчи были очень дороги. Коноводы все просили денег вперед и забрали до шести тысяч рублей. К тому же реки опять замерзли очень рано, и в пути осталось двадцать две барки. И раньше, и позже немало несчастий и огорчений пришлось мне претерпеть. Несколько раз случаются крупные пожары, а больше того было несчастий с судами. Стою я в одно Лето в Церкви в Орехове, — вдруг подают телеграмму, что мой мокшан сел на мель. Перегрузить и стащить его стоило очень дорого. В другой раз затонул пароход: река пробила новое русло, а лоцман был неопытный и налетел на подводный огромный пень. Убытки опять были большие. Но всегда я старался не падать духом. Все нужно переносить без ропота и благодарить Бога нашего ничего нет — все Божье; Бог дает, Бог и отнять может. Писано бо есть: «Сегодня богат, завтра убог». Старался я жить с покорностью воле Божией, не унывать, а молитвою и трудом снискивать себе Божию помощь.

Проработавши Морозову около пятнадцати лет, я, как-то раз явившись в контору для расчета, узнал, что хозяин Тимофей Саввич приехал на фабрику и дает всем служащим награду.

Я решился войти в кабинет хозяина.

— Тебе чего? — спросил он меня.

— Тимофей Саввич, — сказал я ему, — вы всем даете награду.

— А разве и тебе хочется награды? Тебе награды не полагается — ты подрядчик.

— Как же это, Тимофей Саввич? Всем вы дали награду — и служащим, и десятникам; а мне вы

вверяете товару слишком на миллион, и я его сохраняю, поэтому и желаю получить от вас награду,

— хоть бы пять копеек, чтобы я знал, что получил награду.

Тимофей Саввич усмехнулся и говорит:

— Разве дать сот пяток?

— Не пятьсот — хоть пятачок, да только бы была награда.

— Ну, хорошо, шестьсот будет с тебя.

Взял лоскуток бумаги и написал синим карандашом: «Выдать шестьсот рублей» — и отдал мне.

Служащие очень удивлялись, что мне, не служащему, была выдана такая награда. Когда я вернулся в кабинет благодарить Тимофея Саввича, он сказал мне:

— За то тебе награда, что ты человек трезвый и верный. Наживай деньги, покуда я жив, а помру, может все перемениться.

Так и вышло. Пока он был жив, много у них было мне работы. После его смерти товар стали отправлять по железной дороге.

Умер Тимофей Саввич в Ливадии, а хоронить его привезли в Москву. Я ездил отдать ему последний долг и видел его пышные похороны. На гробе лежало более ста венков.

С проведением железных дорог на барках дел становилось все меньше и меньше. Тогда мне пришлось купить по случаю три старых парохода за восемнадцать тысяч рублей, а вслед за тем я решил выстроить свой новый пароход. Мои пароходы стали ходить по Клязьме, а так как до сих пор на Клязьме пароходов не было, то дело наше наладилось было очень хорошо. И пассажиров, и товара для перевозки было очень много. Но как-то на нашем пароходе проезжал нижегородский купец Щербаков. Наш пароходный капитан рассказал ему, что наше дело золотое дно и что стоит только выстроить большие мелководные пароходы, и деньги можно будет загребать лопатой.

Щербаков вскоре же построил три парохода и переманил к себе нашего капитана. Началась между нами конкуренция. Товар стали возить за полцены, а пассажиров чуть не даром — только иди да садись.

Вся команда новых пароходов стала насмехаться над нами.

— Эй, Николаев, причаливай свои пароходы к берегу. Будет им работать — наработались.

Их пароходы были действительно сильнее и удобнее наших. Перегоняя наши пароходы, они всегда кричали нам:

— Где вам за нами гнаться? Разве вы не видите, что мы куда сильнее вас!

Один раз я сказал капитану:

— Напрасно вы хвалитесь. Наполеон, например, тоже хвалился своей силой и думал, что сильнее его только Бог на небеси, а как попал в Москву, и пришлось идти назад по дороге, которую он же опустошил, то сам едва живым остался. Так и вы, думаете взять верх, а можете ошибиться. Все дело Божье. Кто надеется на Бога, тот да не погибнет. Может, Господь нам поможет.

Три года продолжалась между нами конкуренция, и оба мы потерпели убытку тысяч по тридцати. Наконец мне удалось объяснить Щербакову, что дела его идут гораздо хуже, чем он думает, и что служащие ведут его к разорению. Тогда только Щербаков согласился упорядочить наше дело. Мы установили расписание, по которому наши пароходы должны были ходить поочередно. Наконец у нас установился должный порядок.

На своих пароходах я поручил надзор своим трем сыновьям: старшего сделал управляющим, второго — кассиром, а третьего поставил вести книги.

Все, казалось, теперь обстояло отлично. Но враг-диавол, который постоянно строит людям свои

козни, посеял вражду в моем семействе.

Как-то раз во время разгара пароходного дела — я был дома — приезжает вдруг домой мой старший сын. Я удивился и спросил его, для чего он приехал. Он три дня молчал, а потом и говорит:

— Отделите меня, батюшка.

Услышавши это, я и мать заплакали. А он сказал:

— Если не хотите ничем наградить, то только благословите, я и так уйду а если не благословите, то жизнь свою решу.

- Чем жизнь свою тебе решать, — сказали мы с матерью, — то лучше мы тебя наградим и отпустим с Богом.

Мы наградили его, давши ему из нашего имущества то, что он указал, и кроме того три барки, лавку с товаром и уступили ему самую выгодную поставку.

Потом, как ни горько было отпускать его от себя, благословили его на новую жизнь, причем я сказал ему:

— Живи по правде. Будь трезв. Служащих не обижай. Если же будешь заниматься дурными делами и пьянствовать, не послушаешься родительского приказа — промотаешься, тогда на меня не рассчитывай, я тебе не помощник. Если же будешь вести себя хорошо и заботиться о деле, то я тебя не оставлю, и Бог тебя благословит. Иди, живи с миром.

Дела мои и после этого раздела, благодарение Богу, шли по-прежнему. Из достатков своих я мог уделить кое-что и на доброе дело.

Раз как-то, еще очень давно, наш батюшка сказал мне, когда я ехал в Нижний:

— Надо бы, Матвей Егорыч, поусердствовать что-нибудь для церкви Божией.

Я купил сначала Евангелие, а затем у меня вошло в обычай уделять постоянно что-либо на нужды храма Божьего. Бог помог мне построить придел в нашей церкви, купить колокола и вообще своей посильной лептой постоянно поддерживать благолепие его.

Не могу умолчать в своих воспоминаниях о происшествии, которое случилось однажды со мною и которое укрепило меня, впадшего было в разные сомнения, в православной вере христианской. Мать моя, происходя из раскольничьей деревни, под старость стала придерживаться раскола. Большое влияние еще оказал на нее бывший у нас во время крепостного права управляющий Комаров, который усердно соврашал всех в вотчине в раскол и покровительствовал тем, которые отказывались от православной церкви. Меня мать моя не отвлекала от православия, а, напротив, всегда настаивала, чтобы я посещал храм Божий. Помню в детстве несколько случаев, которые даже восстановили меня против раскола.

Священник у нас был тогда добрый и простой, но имел тот недостаток, что любил выпить. Он очень старательно убеждал старообрядцев посещать церковь, но они отказывались, говоря, что в православной церкви нет благодати, и не внимали его увещаниям.

Один раз в соседней деревне раскольник-пчеловод, у которого было до ста ульев, стал весною кормить пчел. Наложил он из кадки меду в корытца — не едят пчелы. Пошел поглядеть в кадушку — что такое? А в кадке мышь. Как он ни бился с пчелами — не едят меду. Тогда позвали раскольничьего наставника читать над медом молитвы — пчелы все не едят меду. Как раз случился в деревне наш батюшка. Он пришел к раскольнику и говорит: «Пойдем-ка, Тимофей, на пчельник. Я прочту над медом молитву и окроплю все святою водою. А потом и сами меду отведаем, и пчелы

будут есть». Раскольник согласился. Прочитавши молитву и покропивши водою пчельник, священник сам поел меду и уехал домой. Пчелы вскоре же стали есть мед. Этот случай подействовал на пчеловода, и он с этих пор всегда с уважением принимал нашего батюшку.

Из этого случая я понял, что благодать Божия от священника не отнята, хотя бы он и имел человеческие недостатки.

В другой раз напало на наше и соседние поля несметное количество червей. Народ очень опечалился. Обратились тотчас же к священнику, прося помолиться. Помню в молитве батюшка читал: «Господи, пошли птиц собрать насекомых». Не прошло и двух часов после молебна, как на наши поля налетело множество птиц, точно облако, и к вечеру все черви были ими уничтожены.

Эти наглядные случаи были для меня в молодости убедительнее всех раскольничьих рассуждений, и я неизменно оставался верным православной Церкви.

Но когда я стал работать на фабрике у Морозовых, тут все чаще и чаще приходилось мне сталкиваться с раскольниками и часто против желания вступать с ними в споры. Они стали убеждать меня не посещать церкви, так как там молятся тремя перстами, священники сребролюбцы, бреют усы, курят табак, пьют водку, следовательно, на них не может быть благодати Божией и от них нельзя принимать св. Тайн.

Тогда я поехал в Москву и накупил разных книг: книгу о вере, Златоуст, книгу Ефрема Сирина, большой и малый катехизис и еще несколько древних книг Иосифовской печати. Все эти книги я давал читать моим сыновьям и знакомым. Из этих книг я понял, что все нападки раскольников ложны. Как-то раз я разговорился об этом с нашим батюшкой. Он сказал мне между прочим:

— Если ты хочешь убедиться окончательно, насколько несправедливы толки раскольников о мощах, о трехперстном сложении, то съезди в Киев и попроси открыть тебе мощи, — там есть святые с трехперстным сложением

Спустя некоторое время я отправился в Киев вместе с женой. Остановился в гостинице Киево-Печерской лавры. Обошли все святые места, побывали и в пещерах. Я стал просить монахов открыть для меня мощи. Некоторые старцы начали меня уговаривать:

— Вас здесь каждый год бывает несколько тысяч. Возможно ли для всякого тревожить святые мощи?

Но я сказал, что нарочно затем ехал издалека, что в нашей губернии много раскольников, которые вводят в большое сомнение, говоря, что мощей нет, что все они поддельные, и что я только затем и приехал, чтобы удовлетвориться.

Иеромонах сказал мне:

— Веруй, не сомневайся.

Но я отвечал, что живу шестой день и без того не уеду, пока не увижу открытых мощей. Доложили игумену. Мощи приказано было открыть.

Меня предупредили, что на другой день после ранней обедни мое желание будет исполнено. Ночью во сне моей жене явился старец с белыми волосами и бородою и сказал ей:

— Зачем вы сюда приехали? Испытываете, точно евреи неверные! Господь накажет за неверие!

И скрылся.

Утром в церкви ко мне подошел монах:

— Ты, что ли, владимирский?



— Я.

— Ты один?

— Нет, с женой.

— Ну, идите за мной оба.

Повел он нас под собор. Лампады там ярко горели. Отперев раку одного из угодников, монах помолился и стал поднимать одну за другою пелены, и, когда он поднял последнюю, я вдруг окаменел, — стал недвижим, глаза закрылись, и дыхание замерло. Тогда жена моя и монах пали на колени и со слезами стали молиться Богу.

Монах сказал жене:

— Вот за неверие ваше вас постигла кара Божия.

Состояние окаменения продолжалось со мною немало времени. Наконец заметили, что я пошевелился. Монах подошел ко мне. Тут я открыл глаза. Он велел мне перекреститься, и я наконец очнулся совсем. Потом я приложился к святому. Я видел, что руки у него сложены на груди крестообразно, пальцы показались мне мягкими, как у спящего человека. Лица же я не видел — не мог поворотить глаз. Жена, видевшая лицо святого, говорит, что в нем узнала именно того старца, который являлся ей в ночи.

— Должно быть, по чьим-нибудь молитвам Бог тебя помиловал, — сказал мне монах. — Иди с Богом, веруй, и вера твоя спасет тебя.

Чрез двенадцать лет я снова приехал в Киево-Печерскую лавру. По пещерам с нами ходило много народу. Выйдя из пещер, сели на лавочку и стали рассказывать, кто откуда приехал. Были здесь и из Оренбурга, и из Перми, и из Сибири. Один из богомольцев стал рассказывать, что ему передавали старцы, как здесь двенадцать лет назад случилось чудо: один владимирец настоятельно требовал, чтобы ему открыли мощи, и когда сделали по его желанию, то он пришел в состояние окаменения и долго так оставался, пока наконец после молитвы иеромонаха и жены своей пришел в чувство.

— Все это верно, друзья мои, — сказал я. — Все это было двенадцать лет назад со мною.

Все слушавшие были поражены рассказом, и многие прослезились.

Всякие раскольничьи увещания и разговоры я слушать перестал, и никакие религиозные сомнения меня уже больше не смущают. Я кончил. Жизнь моя, можно сказать, прожита. На склоне лет своих я ежечасно благодарю Господа Бога за то, что он вложил в меня любовь к труду и дал мне возможность еще в детстве научиться бояться Бога, верить в него и надеяться на него.